

15 июля 1841 года по “старому” (юлианскому) календарю в седьмом часу пополудни по дороге в гору к Машуку (лохматая шапка туч укрывала его, сползая) прибыли на место в четырёх верстах от Пятигорска дрожки с секундантами и двое верхами. Торопились: находила гроза. Около семи часов на небольшой поляне на склоне Машука к воткнутой кабардинской шашке, обозначавшей барьер, вышел, поднимая кверху правую руку с нарезным *Кухенройтером* (снял свою пехотную фуражку, отдал другу Глебову). Что он чувствовал? Отчаяние, нетерпение, невозможность уйти? Думал, может быть, о ком-то из близких, о матушке родимой, которой нет на свете, или думал о нужном, боевом: как заставить его дать по себе промах, может быть, взбежать, выжидая? Но исполнимо ли то на трёх выстрелах кряду? О выстреле Грушницкого, с издёвкой над собою: так ли будет удачлив он сам, как Печорин? Испытывал ли соперника и судьбу в холодном любопытстве? Или уже понял и до последнего всматривался Художник: как прост исход, как обыденна реальность, вот хоть эта поляна без романических уступов и демонических заветей, как клонятся намокшие, захмелевшие кусты боярышника и уходит наверх чудно зелёный, шумящий ветвями лиственный склон – прощаясь с ним, тревожась?! Один какой-то Мишель перед силами тьмы и света – что ты? что человеческая жизнь? Или – сказать ли? – почуял звериной сутью своей, что *должен* подставиться, что без того не будет хоть вот этого нищенского нашего сожаления, нашего воя по нём, восстания из мёртвых его – его, что *смертию смерть поправ!* И через краткое время сражённый пулей навылет из правого бока в левый от выстрела с пятнадцати шагов, произведённого приятелем по шалопайским трудам 25-летним отставным майором Николаем Мартыновым, в возрасте 26 лет 9 месяцев и 13 дней упал в траву убитый наповал мальчик, не успевший исполнить из своего главного назначения почти ничего, и в глазах окружения почти никто – потомок шотландского барда Лермонта, дитя страстной и угнетённой любви, изгнанник общества, сирота, одна из вершин человеческих возможностей, опальный русский поручик Михаил Лермонтов.

Чудовищное по своим последствиям событие оказалось (как это бывает почти всегда) оценено немногими судьями, большая часть которых одобрила (или сочувственно “объяснила”) событие. Был убит неприятный, малопонятный, много мнивший о себе и скверно отзывающийся о знакомых молодой человек, предсказавший себе сам скорый и дурной конец и получивший по своим предсказаниям и по заслугам. За год до этого он опубликовал роман о некоем Печорине – которого срисовал, надо полагать, с себя, в каком-то романе опять же весьма гадко (впрочем, любопытно) обрисовал некоторых знакомых (о романе Государь отозвался, по верным слухам, весьма нехорошо. . .).

Словом, был убит, разумеется, известный, но известный с дурной стороны человек.

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана...*

*...И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне...
“Сон”, 1841*

Да уж, играть падшего ангела — дело не мирное, не любезное сердцу простодушному. Играть!.. — и чуют приближение Подлинного совсем с иного берега, подстергать Натуральное, являющееся охотнику, как зверь в бору: только на миг, дрожа — пулей уходящее в безвестность, лишь заподозрив, что станет добычей Слов.

И скука... и скука же, черт её дери, русская тоска!

Но неспроста начинал он всматриваться в русскую жизнь отнюдь не с её “идейной”, то есть рефлексивной (быть может, выдуманной и мнимой) стороны.

*С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;*

*И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков...
“Родина”, 1841*

Упорно, с редким усердием, скрытно, почти тайком, с нещадностью к себе, с одинокой настырностью трудился Михаил Юрьевич — на привалах и переходах, в ожиданиях и отпусках, вечерами, ночами и целыми сутками, — рано понявший важность реальности, “натуры” и пустоту знакомств и дружб, холод общества, которому нужен не ты, но продукт труда, нужен результат, твоя кровь. Он решал, а не мечтал; достигал, а не планировал. Он не собирался, он жил. Он достиг многого! Его отношение к кавказским людям, горцам; к светским цепям; к войне; к журналам; к русской деревне; к русской публике; к Москве; к Тамбову; к женской любви; к десяткам вещей — верно без изъяна и стало образцовым, а во многом окончательным ответом.

Он мог достичь вершины!

Сам тяжёлый и язвительный его характер должен был гармонизироваться от выдающихся результатов его труда и их признания — ведь несправедливость его в личном быту была лишь уязвимостью высокого самосознания, гордыня — отчасти самолюбием (но и рассеянностью великого сосредоточения ума), провокации — методом испытания истины, а мрачная дерзость и вызов — только формой оскорблённой любви. Однополчане, знавшие его в деле, ценили его сердце, не серчали на пустяки, не вылезли со светскою кривою злобой.

Была ли действительная предопределённость в гибели Лермонтова?

*Я знал: удар судьбы меня не обойдёт;
Я знал...*

Мой ум не много совершит...

Так называемое “общество” — средоточие глухого эгоизма — охотно мирится с чужой гибелью, тем паче предсказанной. Но он не кликал смерть, а заклинал её, он не хотел умирать!

“Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зелёных вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не

проникал ещё радостный свет молодого дня: он золотил только верхи утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождём... как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!..” Такого не пишут фаталисты, обречённые гибели! Но вот как говорят в народе: “Кличешь, кличешь — и накличешь”. Некоторая предопределённость, вероятно, была; некоторая! — но и русская невезуха. Если в смерти фаталиста Вулича было взаимное искание её, неосознанное устремление, отражающееся в особой предсмертной печати на его лице, то при гибели Лермонтова ничего такого не отмечено! Он был убит, как мог быть убит обыкновенный русский человек. Печорин не допустил бы над собой этакого!

*Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навлет в грудь...
“Завещание”, 1840*

Но не Шамилю привелось убить его, не боевым оружием, не в сражении: Кавказ невиновен! Кавказ пришёлся ему впору, как приходится впору иное наказание... в отмеренных, конечно, рамках (таким ли, как он, отмеряют их?). Не будь Кавказа (только представить), не явилось бы “Героя...”, “Мцыри”, “Беглеца”! — да и такого “Демона”...

*Там за твердыней старую
На сумрачной горе
Под свежую чинарою
Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?*

*...Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор,
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковёр...
“Свиданье”, 1841*

И этого бы не было тоже. А что было бы? Были бы в лейб-гвардии Гусарском полку обязательные к посещению балы; вероятные раздражения; возможные дуэли — с его занозистостью, дерзостью, потребностью дела, с бесцельностью службы...

Ощущение и, стало быть, суждение людей, чьё жизненное пространство теснится сильным независимым умом, по отношению к такому раздражителю по одному инстинкту будет, конечно же, враждебным. Но есть ещё одно “поле жизни” — жизни, насыщенной сильнейшими страстями, жизни активной и исключительно ревливой к конкуренту, — поле творчества. Поразительна в самом деле бывает степень ревности, несдержанности, даже глупости в суждениях о сильном личном (ибо он становится личным) враге: Толстого о Шекспире (что бы ему Гекуба?), Бунина и Набокова — о Достоевском, Достоевского — о Лермонтове... Бог знает, зачем удержана в тексте “Бесов” несправедливая эскалация сравнений злобы Николая Ставрогина — поначалу со злобой “декабриста Л-на” (очевидно, Михаила Лунина), затем... но процитируем: “В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в обоих вместе...” и т. д.

“Если бы был жив Лермонтов, не нужен был бы ни я, ни Достоевский”, — изволил обронить Л. Н. Толстой обдуманную, тяжёленькую фразу. Слишком

чувствовал это и Фёдор Михайлович! Правда и то, что “Бесы” писались и правились в страшной спешке; но не выбросил же он это имя из такого контекста при подготовке отдельного издания, хотя, кажется, вообще следовало бы выбросить из всякого, чтоб не обнаружиться...

Но что ещё интереснее и показательнее, так это описание дуэли Ставрогина, кроме, конечно, её смертельного исхода (рано было убивать героя!), во многих мелочах совпадающее с известными (и тогда, может быть, столько же, сколько нам, если не полнее) описаниями дуэли Лермонтова. Случайно ли это? Не тот художник Достоевский (глубоко мною чтимый, чтобы определиться тут в интонациях), чтобы просто как-нибудь случайно “воспользоваться канвой” и не заложить туда какой-нибудь изощрённой каверзы, в особенности после прямого сопоставления своего довольно ничкёмного и наиболее надуманного из его крупных героев персонажа с... Лермонтовым.

Обширные цитаты – бедствие работ о писателях, но и их украшение (часто единственное). Как быть? Сократим из главы “Поединок” (“Бесы”, ч. 2, гл. 3) что только возможно и укажем лишь приметы сходства или характерной близости этих двух – реальной и вымышленной – дуэлей. Для чего? Так ли важно это? Угадаем ли мы тут движение самолюбивого и завистливого художнического сердца, а если и угадаем, то опять-таки для чего?

Но мы ведь пустились в некий уже рискованный путь к безвестным берегам... Пусть же сгинет вся история нашего путешествия, коли не приведёт оно никуда!

Кого (отчасти пародируя? или бессильно не достигая?) образом Ставрогина, а заодно, конечно, с иными многосложными задачами желал бы автор косвенно уязвить, с чьей тенью посчитаться, с кем сводит личные художнические (а это самые личные в мире) счёты? Ведь сводит он тут же счёты и со старшим здравствующим товарищем своим, Тургеневым, своей карикатурой Кармазинова.

Пошёл Кармазинов – конечно, пакость, излияние желчи, Ставрогин же – отчасти зная, почти деятель... разве только гнилой внутри.

Но вот эта дуэль.

Стреляется Ставрогин с неким дворянином Артемием Павловичем Гагановым, отправившим ему “необычайное по грубости” письмо, с целью получить наконец вызов от приносящего все возможные извинения и тем всё более ненавистного Ставрогина. Тут ещё только аналогия с письмом Пушкина Геккерену, отмеченная и в романе. Гаганов имеет свои резоны, которые тут мало важны, отметим, однако, резоны фамильные.

Гаганов вышел в отставку из военной службы подполковником (убийца Мартынов – майором). В глазах всех окружающих, “особенно ввиду смиренных извинений, уже два раза предложенных Николаем Всеволодовичем”, он какой-то назойливый маньяк... Но прежде, в Петербурге, он “стал известен “благородным” образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек, уходящий в себя, закрывающийся. Ещё черта: он принадлежал к тем странным, но ещё уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьёзно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Ещё в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить своё образование, укоренились в нём некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть её, рыцарство; он чуть не плакал тогда от стыда, что русского боярина времён Московского царства царь мог наказать телесно, и краснел от сравнений”.

Тут всё неслучайно. Тут нет прямой (но едва ли нет сознаваемой) аналогии с Мартыновым. Тут вернее художественно, лучше идущее к делу. Но связь есть: “Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем”.

Ничего, собственно говоря, дурного, ровно ничего! Тут только человек, не любящий родину за то, что она не та, не такая, как следует. И только, и только! И ничего более; и стоит человек за фамильную честь. И никому-то он не по душе, и Бог его знает – почему. Тут именно романтизм, то есть не истинный европейский, сильный и не прижившийся на почве нашей, ибо той,

что требовалось (рыцарской), почвы нет и не бывало, а была и есть иная, — тут почти гоголевский “иностранец из Лондона и Парижа. Конечно, Гаганов умнее “иностранца Фёдорова”, он образован, он держит оперную Европу в себе; ну, не любят иные люди родину, что тут делать. А иные бранят её словами последними, но любят. А иные *любят странно любовью*...

Условия дуэли крайне жестоки и диктованы самим Ставрогиным секунданту Кириллову. “Определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу...

— Десять шагов между барьерами близко, — заметил Кириллов.

— Ну, двенадцать, только не больше, вы понимаете, что он хочет драться серьёзно”.

Но Гагановым ещё усугублено. “Если с первых выстрелов не произойдёт ничего решительного, то сходить в другой раз; если не кончится ничем и в другой, сходить в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчёт третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился, с тем, однако ж, что “три раза можно, а четыре никак нельзя”. В этом уступили”.

В сбивчивых и противоречивых указаниях о дуэли Лермонтова есть и барьер в десять шагов, и требование сходить трижды — исходящее, ясно, не от него. Сошлись только один раз, потому что сразу убили (и убивали сознательно) насмерть. Герои “Бесов” сходятся трижды. Тут опять почти всё знаменательно.

“Гаганов с Маврикием Николаевичем (секундантом Гаганова. — М. Ж.) прибыли на место в щегольском шарабане парой, которым правил Артемий Павлович; при них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами, и тоже в сопровождении верхового слуги... Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почёл прибытие верховых за новое себе оскорбление в том смысле, что враги, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого”.

Убитого Лермонтова не на чем оказалось везти...

“Он вышел из своего шарабана весь жёлтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чём и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николая Всеволодовича не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий: вышло пистолетам Кириллова”.

Тут можно не сомневаться и предвидеть: кирилловские пистолеты ранее описаны — чрезвычайно дорогие, в ящике пальмового дерева, внутри отделанного красным бархатом... Пистолеты не называются по модели, но это была бы и излишняя деталь; разумеется, нарезные; едва ли отечественные...

Далее всю дуэль нужно читать. Совпадает многое — едва ли случайно, многое. Яростная, почти трясающаяся агрессивность одного — и раздражённое, почти наплевательское (и, конечно, оскорбительное) равнодушие другого.

“Я в этого дурака стрелять не буду” — Лермонтов, со слов князя Васильчикова, цитируемых во многих биографических работах.

“Я не хотел обидеть этого... дурака, а обидел опять”, — говорит Ставрогин в диалоге с Кирилловым после дуэли.

“— Что же надо было сделать? — Не вызывать. — Ещё снести битьё по лицу? — Да, снести и битьё. — Я начинаю ничего не понимать, — злобно проговорил Ставрогин, — почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут?” (Что тут подчёркнуто? Кто тут невидимый обязан сносить пощёчины?)

Первый выстрел Гаганова задел Ставрогину мякоть мизинца. Ставрогин “поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил, почти не целясь”.

Лермонтов (доказано по сильно скошенному каналу пули) держал пистолет, вытянув руку вверх, подняв тем самым правую сторону грудины, и пуля вошла в правый бок ниже последнего ребра, а вышла между пятым и шестым ребром слева.

“— Я заявляю, — прохрипел Гаганов (у него пересохло горло), опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, — что этот человек (он ткнул опять в сторону Ставрогина) выстрелил нарочно на воздух... умышленно... Это опять обидо! Он хочет сделать дуэль невозможной!”

— Я имею право стрелять, как хочу, лишь бы происходило по правилам, — твёрдо заявил Николай Всеволодович.

– Нет, не имеет! Расстолкуйте ему, расстолкуйте! – кричал Гаганов.

– Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича, – возгласил Кириллов.

– Для чего он щадит меня? – бесновался Гаганов, не слушая. – Я презираю его пощаду... Я плюю... Я...

– Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорбить, – с нетерпением проговорил Николай Всеволодович, – я выстрелил вверх потому, что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается...

– Если он так боится крови, то спросите, зачем меня вызывал? – вопил Гаганов, всё обращаясь к Маврикию Николаевичу.

– Как же вас было не вызывать? – ввязался Кириллов. – Вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться!”

Легко увидеть в озлоблении Гаганова – прямо в репликах! – и аналогию с Грушницким. Уж этого-то автор “не заметить” не мог... Намекал? Зачем?

Дуэли Лермонтова, её причинам, поводу, самому её течению посвящено так много работ и так всё-таки небольшое в ней прояснено, что говорить с какой-либо точностью о некоторых её деталях здесь и невозможно. Мы и не располагаем никакими новыми материалами и совсем не ставим уточняющих задач. Говорим же здесь не столько о ней самой в её деталях, сколько о художественной её аналогии, включая, конечно, и романские отклонения от (вероятно, тех же, что и нам, известных автору “Бесов”) её описаний. Эти описания могли быть известны к 1871 году, когда Достоевский работал над “Бесами”, и изустно. Воспоминания А. И. Васильчикова о дуэли явились в “Русском архиве” в 1872 году. О пистолетах, принадлежащих Алексею Столыпину (Монго) – крупнокалиберных, дальнобойных, нарезных – сообщалось в том же “Русском архиве” раньше, в 1866 году. Да что значит в России хоть и какая бы то ни было задержка публикаций?! “В России всё тайна, но ничто не секрет”, – сказано г-жой де Сталь.

Второй выстрел дуэлянтов безрезультатен. Гаганов опять беснуется по поводу намеренно неточного выстрела противника. Третий выстрел Гаганова пробил Ставрогину его белую пуховую шляпу: “четверть вершка ниже, и всё бы было кончено”. Ставрогин “уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял, как придавленный”.

То, что тут на первом плане интересы сюжета, очевидно. Однако аналогия, о которой мы говорим, не так уж завуалирована или вовсе... бессознательна? Но мыслима ли бессознательность у этого автора, да ещё после прямого сопоставления героя с Лермонтовым? Но тогда что за всем этим кроется? Ставрогин выведен *не сильным* человеком... Это не гадостный Кармазин, но тоже со своей пакостью в душе, с поступками, прямо вызывающими... Это месть художника? За что? За гений, которого превзойти возможности нет? И поделять-то ни с убитым, ни с его Печориным уже ничего нельзя?... Печорин дважды упомянут в романе в контексте раздражённом.

Кстати, о белой пуховой шляпе. Шляпа-то, оказывается, “карбонарская”, за подобную шляпу едва не пострадал ещё сильнее ссыльный декабрист и писатель А. А. Бестужев (Марлинский), которому прислали шляпу в подарок из Москвы. Пятигорский доктор Майер спас его, назвавшись заказчиком шляпы, и сидел за шляпу в крепости! Гаганов, стало быть, хоть не убил негодяя, но навзлет пронзил карбонарскую шляпу? Что тут за символ опять? Так как Достоевский синтезирует героя, а не берёт его “живьём”, деталь почти не может попасть к нему “так”, случайно. Шляпа явно особенная: кажется, такую же шляпу мы видим на Герцене на одном из его портретов середины века. Не такую же ли пронзает насквозь герой Достоевского?

Ставрогина он повесит на последней странице. “Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: “Никого не винить, я сам”. Не забыты и кусок мыла, и молоток с большим гвоздём: “Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты”. Опять деталь: сумел бы гвоздь забить “гражданин кантона Ури”? Чай, молотка в руках не держал. Ну, как только пальцы бы себе отбил? И со злости бы не повесился? Фёдор Михайлович, возможно, учёл и это, и “большой гвоздь” отложил.

Проза Достоевского – совсем иного тона, манеры (кружение, аффектация), иной психологической температуры, но по сути в главном задачи её

те же, что у Лермонтова. Исполняет он, конечно, собственный духовный долг, только решает он эти задачи в атмосфере куда худшей, грозовой... Задачи эти мы, сохрани Бог, не смешиваем с проявлениями художнической ревности. Мы только о том, что неказистый (выразимся так) в итоге получился по содержанию между главными в его творчестве персонаж Ставрогин. Но Фёдор Михайлович отомщён. Недоброе его кружение около тени Лермонтова оставлено, он успокаивается, уходит к своей теме. Карикатуры его всего только козвенны, иных и покоробит... Пусть его, хохочет Иван Сергеевич над Кармазиновым! А кому-то по душе...

* * *

...жалок мир!

*В нём каждый средь толпы забыт и сир;
И люди все к ничтожеству спешат,
Но хоть природа презирает их,
Любимцы есть у ней, как у царей других.*

*И тот, на ком лежит её печать,
Пушай не ропщет на судьбу свою...
“Блестяя пробегают облака”, 1831*

*...Свой замысел пушай я не свершу,
Но он велик — и этого довольно;
Мой час настал — час славы иль стыда;
Бессмертен иль забыт я навсегда.*

.....
*Я небо не любил, хотя дивился
Пространству без начала и конца,
Завидуя судьбе его творца,
Но потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашёл себя, в себе одном
Нашёл спасенье целому народу:
И утонул деятельным умом
В единой мысли, может быть, напрасной
И бесполезной для страны родной,
Но, как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой.*
“Отрывок”, 1831

(подчеркнуты строки с нечаянным новым смыслом, созвучным нашей теме. — М. Ж.)

О великой задаче, полагаем, думает юноша Лермонтов в свои неполные семнадцать лет. Когда в университете, после холеры и массового бегства из Москвы, с января 1831 года были возобновлены занятия, ни к каким университетским кружкам — ни Станкевича, ни Герцена — он не примкнёт, он сам по себе.

...Его дуэль, внешне сходная, внутренне иная. Прежде всего сам он внутренне иной — сознающий своё назначение, полный замыслов, но бессильный освободиться из ловушки, приневоленный к чуждому делу войны. Он велик и ничтожен. В это положение он поставлен таким образом, что некого и винить. Теперь отставку нужно выпрашивать: искать прощения, не зная вины. (Клейнмихель “не советует” просить её теперь, передаёт ему бабушка: двором не забыта “Смерть поэта”, а Григорий Печорин только прибавил монаршего благоволения.) Заслужить? Но там, в Малой и Большой Чечне в пятимесячных стычках и “делах” с июня по ноябрь прошлого 1840 года он отличился не раз, в декабре представлен к ордену и золотой сабле “за храбрость”. То и другое ему и князю Сергею Трубецкому, в последующем одному из секундентов Лермонтовской дуэли, вычеркнуто государем. Война идёт не за отечество, не с завоевателем, а с коренным народом, за интересы империи. Коренной народ,

поощряемый дипломатией Англии, отказалась подчиниться условиям Адриано-польского мира 1829 года. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мингрелии; Черкесия присоединяться отказалась, а на востоке поднялся имамат – с 1834 года это Шамиль. В этих “экспедициях”, где ты штрафник и обязан лезть вперёд, дважды выживают немногие, а трижды – почти никто. При одном Валерике убито 6 и ранено 15 младших офицеров, ещё 6 старших штаб-офицеров ранены, контужены, 1 пропал без вести.

Шёл он (ехал верхом) по этой последней дороге своей как будто в весёлом расположении духа, на деле же, можно думать, в досаде – на ненужную, невольничью опять обязанность идти, вынужденное вообще безделье, безнадежность и униженность ожидания отставки, – а значит, хочешь или нет, снова в пекло! – на сиротство, одиночество, точно после гибели Пушкина, этого низкого убийства несравненного, незаменимого человека какой-то импортной тварью закрылась для него сама возможность содержательного общения, творческого и жизненного совета, исчезла, вдобавок к потере отца, всякая опора... Недаром же делится он в эти дни или даже во время поездки по этой последней дороге обширными планами литературной работы с совсем юным Глебовым (“светлый ум и доброе сердце”, храбрый офицер, отличный товарищ, будет через 6 лет убит при штурме очередного аула), отодвигая тем от себя сегодняшний вздор жизни, её невольничью зависимость, надобность теперь идти и стоять под дулом пистолета в руках у пустоголового приятеля, стрелять в которого он не может и не будет. Это же надо перестрелять 9/10 человечества! Это не его промысл, это Промысл Господа Бога нашего, для целей неисповедимых держащего эти 9/10, а то и все 10/10 на земле, а придётся идти и стоять и принять эту вертлявую огненную пулю, пронизывающую, убивающую всё в нём: его лёгкие, сердце, его мечты, его будущее и два века его страны.

Даже неизвестно, сколько прямых свидетелей присутствовало на месте дуэли. П. Л. Висковатов пишет о “полном вероятно”, что, помимо четверых секундантов (М. П. Глебов, А. А. Столыпин, князя А. И. Васильчиков и С. В. Трубецкой), были ещё “зрители” – “между ними и Дорохов” (однополчанин Лермонтова), “неоднократно разжалованный в солдаты”, сообщает “Лермонтовская энциклопедия” (далее ЛЭ), то есть разжалованный не менее чем трижды и дослужившийся опять до чина поручика (прототип бретёра Долохова в “Войне и мире”). Достоверно, что Лермонтов со Столыпиным (по общей традиции награждаемым прозвищем Монго для отличия от других Столыпиных, родственник и ближайший его друг) выехали верхами из Железноводска. Им навстречу из Пятигорска ехала группа молодёжи с настроениями не то мирить противников, не то почти уверенные, что всё обойдётся, что дело кончится шуткой и товарищеским ужином (в Пятигорске заготовлено для ужина вино и всё, что следует). На половине дороги, в немецкой колонии Каррас все вместе обедали. Обедал ли тут с ними и Мартынов, неясно; но по его совсем иному настрою судя, едва ли. Ожидаемое примирение не случилось. Князь Васильчиков с Мартыновым и столыпинскими пистолетами поехали на дрожках отыскивать место...

Всё это до тошноты нехорошо читать. Кто в точности присутствовал, кто и на чём ехал, кто как был одет? Нужно бы это для “художественности” дела... А на кой она, художественность этого “дела”? Везли убивать русского пророка. И он сам зубоскалил со всеми ними. Тут – и встреченная случайно m-lle Быховец с её тётушкой и её вошедшим в половину книг о нём головным украшением – золотым “бандо”, впоследствии окровавленным... Поэт отнял его, обещав привезти, “если останется жив”. Что это было (если было) – порыв тоски? суеверие? Иное ли что? Так ли уж он был весел? “И весело раскланявшись, вышел. На слова эти, как на шутку, дамы внимания не обратили” (П. Висковатов). О дуэли “дамы”, конечно, не знали.

Сколько же он утащит с собой в бессмертие!

В самом деле, “биография нищенская” (А. Блок), нужно его “провидеть”, ещё как нужно. А приходится биографам его подбирать внешние крохи, всяческий писарский сор, кем-кем не понаписанный, чего-чего там нет... “В ту пору мы все писали такие стихи”, – такое тоже есть, достойное бессмертного господина Галиматье! Да ведь и провидеть... не каждому, ведь не каждому дано? Согласитесь, не каждому дано – такое-то зрение? А ведь хочется,

просится сказать о нём? И всё-то кажется, что есть что сказать, и всё-то уходит и уходит он дальше в своё, непостижимое, и всё-то уведят его куда-то — нашего от нас!!! — те самые... феи.

Эти негласные секунденты (негласные для следствия) — Алексей Столыпин (Монго) и князь Сергей Трубецкой (к обоим особенно не благоволил Николай, и им двоим могли угрожать наиболее суровые последствия). Первому — 25, второму — 26, не так уже молоды, не так уже! По тем временам расцвет ума и силы; юн один только Михаил Глебов, но и для него расцвет — ранний, потому что война! Нешуточное дело — война, а война с горцами, отстаивающими свою волю, веру, родину? Все они на войне, почти все (кроме гражданского чиновника Васильчикова) побывали в деле, сам Глебов и Трубецкой ранены (Глебов — тяжело, в ключицу, Трубецкой — опасно, в шею), кругом и сейчас горцы, отнюдь не смиренные (а “мирные” даже опаснее). Только... вот сейчас... точно ли так умны вы в самом деле там — поручики, корнеты, капитаны, двоюродные дяди, титулярные советники?

Верхаи помчались по пятигорской дороге. (Двое — со Столыпиным? Пятеро — с Глебовым, Трубецким и Дороховым? Сколько их всех, что мчатся сейчас под этой чернеющей тучей, с уже предгрозовым ветром, несущим дорожный сор и пыль? Точно ли туда несётесь вы? Туда ли, где ждёт вас весёлый ужин? На такой ли ужин уйдёт ваше вино?) Не доезжая до города двух с половиной вёрст, “повернули налево в гору, по следам, оставленным дрожками князя Васильчикова и Мартынова” (П. Висковатов, далее цитируется он же).

“Около 6 часов прибыли на место. Оставив лошадей у проводника своего Евграфа Чалова, молодые люди пошли вверх к полянке между двумя кустами, где ожидали их Мартынов и Васильчиков или же Трубецкой, что тоже остаётся невыясненным. Докторов не было не потому, чтобы, как это сообщается некоторыми, никто не хотел ехать, а потому опять, что как-то дуэли не придавали серьёзного значения, и потому даже не было приготовлено экипажа на случай, что кто-нибудь будет ранен.

Мартынов стоял мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундентов воткнул в землю шашку, сказав: “Вот барьер”. Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. “Я помню, — говорил князь Васильчиков, — как он ногой отбросил шапку, и она откатилась ещё на некоторое расстояние”. От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил ещё по десять шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им (Глебовым? — вопрос у Висковатова. — М. Ж.). Они должны были сходить по команде: “Сходись!” Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командой два и три. Противников поставили на skate, около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно, выше; Мартынова поставили ниже, лицом к Машуку. Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов... “Сходись!” — крикнул он. Мартынов пошёл быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведа курок, он поднял пистолет дулом вверх... “В эту минуту, — пишет князь Васильчиков, — я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета”. Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, всё не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. “Раз... Два... Три!” — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. “Я отлично помню, — рассказывает далее князь Васильчиков, — как Мартынов повернул пистолет, курком в сторону, что называл он стрелять по-французски! В это время Столыпин крикнул: “Стреляйте! Или я разведу вас!..” Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный, не успев даже схватиться за большое место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые.

“Мы подбежали... В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь... Неразряженный пистолет остался в руке...”

“Славный малый — честная прямая душа — не носите ему головы” — из письма однополчанина Руфина Дорохова 18 ноября 1840 года.

Врачебное свидетельство

“При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок, ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящём, пробила правое и левое лёгкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча; от которой раны Поручик Лермантов мгновенно на месте помер”.

Далеко в историю идут деяния великих. И резко движут реальную историю на коротком её участке люди совсем иные, подчас ничтожные. Если даже малозначачие на вид события обретают в ней, в дальней или ближней перспективе, немалое значение, то чем резче, чем серьёзнее событие, тем эта перспектива короче. И вот такими, словно бы форсированными, сдвигами в ней движут ничтожества — пускай только как пособники, — но мы и говорим о том. Жорж Шарль Дантес (1812–1895), поручик кавалергардского полка (в России с 1833 года), гомосексуалист, интимный партнёр нидерландского посла Геккерена, “усыновившего” его, а заодно, с большим вероятием, таковой же графини Нессельроде (продвигающей его в высший свет) и скольких-то ещё высоких и иных особ, женатый на свояченице Пушкина Екатерине Николаевне с целью приближения к любезной ему Наталье Николаевне, в среду 27 января 1837 года по старому стилю, около пяти часов пополудни, смертельно ранит на дуэли Пушкина.

“Я презираю таких авантюристов — эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети”, — вот суждение Лермонтова, знавшего обоих. “Срамял собой и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк, в котором числился”, — говорит о Дантесе двоюродный брат Лермонтова Юрьев. “Правду сказать, я насмотрелся на этого Дантесишку во время военного суда. Страшная французская бульварная сволочь с смазливой только рожницей и с бойким говором. На первый раз он не знал, какой результат будет иметь суд над ним, думал, что его, без церемонии расстреляют и в тайном каземате засекут казацкими нагайками. Дрянь! Растерялся, бледнел, дрожал. А как прознал чрез своих друзей, в чём вся суть-то, поднялся на дыбы, захорохорился, чёрт был ему не брат, и осмелился даже сказать, что таких версификаторов, каким был Пушкин, в его Париже десятки”, — так отзывался о Дантесе А. Ф. Синицин, аудитор военного суда над Дантесом, в пересказе мемуариста В. П. Бурнашёва.

Итак, следственно, *ничтожество смертельно ранит Пушкина.*

Со дня этой дуэли и этого ранения в ближнем к Лермонтову кругу столичной аристократии и прямо за столом у собственной бабушки Е. А. Арсеньевой в их петербургской квартире на Садовой он слышит суждения о том, что Пушкин был смешон и жалок, говорил Дантесу дерзости, обижал старика Геккерена, написал ему отвратительное письмо, что он дурён собой и нельзя осуждать Наталью Николаевну, что урод не должен жениться на красавице, что Дантес был вынужден как благородный человек... и т. д., и много подобного прочего. 28 января по столице распространяется ложный слух о смерти Пушкина, а около трёх часов пополудни 29 января Александр Сергеевич скончался. Либо в этот день 29-го, либо 28-го из-за ложного слуха (в истории создания стихотворения есть хронологическая неопределённость) глубоко взволнованный Лермонтов запирается у себя в кабинете и в присутствии друга Святослава Раевского (которого по приходе впустил в кабинет) в один присест пишет стихотворение “Смерть поэта” без его заключительной части — первые 56 строк.

На другой день и в последующие дни они вместе со Святославом раздают списки стихотворения, дают его переписывать знакомым; стихотворение стремительно расходится по столице. Скоро оно достигает и высших сфер, где не вызывает никакого беспокойства. Как рассказано в воспоминаниях А. Н. Муравьёва (1806–1874), поэта и хорошего знакомого Лермонтова (впоследствии камергера), его двоюродный брат, управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии А. Н. Мордвинов знал стихи (даже находил их, по другим свидетельствам, “прекрасными”) и докладывал о них начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу, и они оба “не нашли в них ничего предосудительного”.

Друзья открылены надеждой, что сам государь настроен применить к Дантесу суровые меры, и стихи продолжают распространяться почти открыто.

В воскресенье 7 февраля Лермонтова навещает родственник, Николай Аркадьевич Столыпин, родной брат его любимого Монго, камер-юнкер, служащий в Министерстве иностранных дел графа Нессельроде, с рассказами о светских новостях и сплетнях. Нет совершенно никаких оснований именовать этого человека *ничтожеством*, если только *сравнительно* с уровнем последующих событий. Тем не менее, хваля стихи, он в тоне высшего света вступает за Дантеса: “Апофеозируй Пушкина сколько тебе угодно, но он говорил Дантесу грубости, я сам слышал такое, что не поверил своим ушам, а Дантес как благородный человек...” и т. д., разговор резко накаляется; аргументы, что перед Пушкиным нужно всё стерпеть ради России, не находят понимания, Лермонтов приходит в ярость (“Я за себя не ручаюсь”), Николай Столыпин принуждён уйти, как раз *стерпев* эту сцену – только уже от Лермонтова, – и тот, опять за столом в том же кабинете дописывает те самые шестнадцать строк:

“А вы, надменные потомки...”

Эти строки идут вдогонку прежним, но поначалу и они не тревожат власть. Великий князь Михаил Павлович посмеялся им: “Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?” Граф Бенкендорф рекомендует начальнику штаба корпуса жандармов генерал-майору Л. В. Дубельту не привлекать к ним лишнего внимания (“иначе мы только раздуем пламя страстей”). Это были, конечно, весьма неглупые люди.

Однако скоро эти строки попадают на стол царю по городской почте (недавнее нововведение) как прямой донос без подписи, с припиской “Воззвание к революции”. Теперь Бенкендорф, уже и прежде настороженный некоторыми намеками из великосветского круга, обязан принимать меры. Он пытается говорить о них царю “в успокоительном тоне” (так ли?), но стихи “с гнусной надписью” – на столе у Николая и меры принимает он сам (приказ 14 декабря для него вполне реален). Есть опять-таки воспоминания В. П. Бурнашёва: “Многие того мнения, что это работа Х... причём, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но, естественно, не для жандармерии, которая имеет своё чутьё”. Говорит эти слова Бурнашеву Николай Юрьев, двоюродный брат и друг Лермонтова, и речь идёт о А. М. Хитрово, прозванной “проказой общества”...

“Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: “И зачем это я на беду свою ещё брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до чего он довёл его”. (М. Н. Лонгинов, дальний родственник Лермонтова, начальник Главного управления по делам печати).

* * *

И вот (забегая тут сильно вперёд) с момента написания этих 16-ти строк уже очень проблематично предполагать, что историю России – такую, как она сложилась на сей день, – можно остановить. Через четыре года, пять месяцев и восемь дней, считая от момента написания этих 16-ти строк, Лермонтов будет убит *ничтожеством*, и это уже будет то событие, от которого остановки не случится, а медленно, тяжко, инерционно ускоряясь, воздействуя через цепочки событий, совсем не соотносящихся как следствие и причина, так что каждый последующий агент судьбы обоснованно отпрётся от какой-либо вины – судьба использует его вслепую, – и дело докатится до крушения русской государственности.

... Легко раненный в руку, разжалованный из поручиков в рядовые и высланный на родину Дантес (а на кой ему там чин русского поручика?) прожил 83 года. Его именем в Париже названа улица.

Имя Пушкинской улицы в Москве и Лермонтовской станции метро сняты, в видах “исторических”. Зато мы теперь строим *Сити* и *таун-хаусы* (пишутся русскими буквами – вероятно, чтобы *они* не поняли: шифровка). Проститутство вместо гордости.

Далее следует собственно открытие Лермонтова страной и всё то, что за четыре года и пять с небольшим месяцев оставшейся ему жизни подняло его вровень с Пушкиным и известно из всех его биографий. Во внешней жизни — собственно жизни — это ссылка тем же чином (прапорщиком, а не корнетом, поскольку кавалерия драгунская) в Нижегородский драгунский полк на Кавказе, куда он едет без охоты и спешки с марта 1837 года (Петербург—Москва—Ставрополь — лечение от ревматизма с мая по август на минеральных водах — опять Ставрополь—Тамань и далее) и к своему полку в Тифлисе поспевает к ноябрю и уже к приказу о его отсюда увольнении: тяжкие хлопоты бабушки о возвращении внука удовлетворены. Это не проволочки и симуляции (хоть и не совсем без того), он действует по предписаниям командования, но, кажется, желает избежать сентябрьского императорского смотра в Геленджике. Серьёзных боевых действий на черноморской линии и в горах в расположении полка в эту осень не случилось, но очень многое увидено, написано и продумано. Уже в октябре 1837 года вышел высочайший приказ о переводе его корнетом в л-г Гродненский гусарский полк (очень неохотно возвращал Николай его в гвардию!), и вот, возвращение в 1838 году (через Москву, где он встречал Рождество, и Петербург) сначала в Гродненский л-г полк в Новгородской губернии, где он “промелькнул, как метеор” (26 февраля 1838 года прибыл, 9 апреля — высочайший приказ о переводе в родимый л-г Гусарский, 25 апреля он в Петербурге, 14 мая уже в своём полку в Царском Селе). 6 декабря 1839 года в этом полку он получит чин поручика.

Снова близкий Петербург, короткие два года, с конца апреля 1838 по май 1840 года, *литературной* (перемежаемой балами и гауптвахтами) жизни: полезные и иные литературные знакомства, публикации... немного же отпустил ему этого Господь! 20-летняя вдова княгиня Мария Щербатова — “как ветер пустыни, и нежат и жгут её ласки”, потом дуэль с Барантом 18 февраля 1840 года, где *ничтожество стреляло* (выражусь так) *и могло убить*; но дало промах. Баранта Белинский называет “салонный Хлестаков”. Лермонтов выстрелил в воздух.

“Мне ваш демон нравится: я бы хотела опуститься с ним на дно морское и полететь за облака” (Щербатова). Не сложилось; его опять сослали, на этот раз в Тенгинский пехотный полк, в пекло. В апреле 1840 года Николай потребовал срочного окончания дела и в первых числах мая — отъезда на Кавказ. В апреле же случился выход в свет отдельного издания “Героя нашего времени”. Слава Богу, что так тянулось следствие, успел 9 мая 1840-го побывать в Москве на именованном обеде у Гоголя... с кем свидеться дал ему ещё Господь! Заметим, что хотя, по словам Николая, две трети вины с него снимается за то, что дрался с французом за честь русского офицера, — наказание тяжкое, все дальнейшие просьбы об отставке отклоняются, из последующих наградных списков государем отовсюду вычеркнут... Отношения дворов с “королём-гражданином” Луи-Филиппом, признанным скрепя сердце, — непростые: великий князь Михаил Павлович во время расследования даёт предписание министру К. В. Нессельроде взять показание Баранта. Нессельроде (русский министр!) распорядился: “Отвечать, что Барант уехал...” Сцепя зубы, держит двор пристойные отношения с Францией (битой нами!), с её непрекращающейся гадостной революцией, на юге напряжены таковые и с Турцией, битой нами... Непредсказуема, чужда им всем наша цивилизация, нависает над ними её тень. Не утихает кавказская война...

И ещё заметим, что убили Михаила Юрьевича, как водится, отчасти родственники: бабушка, без ума его любящая, неведомо зачем не желала его отставки, когда сам он желал и просьба была бы удовлетворена (мечтала о его адъютантстве — о внуке в генеральских адъютантах!) Кузен Аким Шан-Гирей спровоцировал новое недоумение с Барантом, результатом чего явилась жалоба посольской маменьки высшему начальству, что Лермонтов-де вызывает её сына на новую дуэль! И из благоприятного течения расследования оно повернуло к гораздо худшему. Таковы уж случаются услуги родственников.

*Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, Боже!
“Евгений Онегин”*

От родственников же паче и паче того. От доброты их и попечения их, от “понимания”, где ляжку тянуть способней нам, где готовое счастье уже осалено нам.

Возможно, до 1840 года он ещё не столь уверенно осознавал, а только приближался к осознанию своего настоящего назначения (требовательностью к себе он отличался редкой). По молодости он ещё нередко мог судить о людях высоко, по себе, а то и по-светски предоставлял разному люду равняться с ним, до чего особенно охоча духовная чернь — ей лестно видеть в гении такую же дрянь, как она сама; для неё чужая искренность есть глупость, но это-то он, конечно, понимал и не раскрывался; подставлялся же ей невольно. В этой второй ссылке 1840—1841 годов им владело уже отчаяние. Возможный успех прошения об отставке был упущен после истории с Барантом, резко осложнённой их новой встречей по вызову Лермонтова на Арсенальной гауптвахте 22 марта 1840 года во время производства над ним суда. Вызов для объяснения был невольно спровоцирован Шан-Гиреем, по другим сведениям — писателем Соллогубом, вероятно же — обоими. (Сам Барант объявил, что он удовлетворен дуэлью, но маменька напугалась, и по её жалобе дело приняло наихудший оборот.) Он уезжал в эту вторую ссылку в самом дурном расположении духа. Он не ощущал вины, а был виновен. Он думал о великом жизненном поприще, а подвергался неудовольствиям двора, начальства и чьих-то маменек.

Есть люди, которым не везет — как будто по их же вине. Не всякий это испытал; не всякий знает, что такое попасть в жизненный капкан. Эти люди неосмотрительны, неосторожны — их поле передаётся во внешний мир, и мир не прочь их добить; это происходит на инстинкте, из верного чувства опасности: от такого исходит агрессия, она непредсказуема; такие не поддаются дрессировке. Такой неполезен поголовью. В напряжённом, состязательном сообществе одиночество и укрытие их удел.

В начале 1841 года он вместо отставки получает двухмесячный отпуск и затягивает его на три месяца (февраль-апрель), которые проводит в Петербурге, всеми путями домогаясь отставки и надеясь на неё, а в то же время непрерывно вредит себе — то присутствием на балу с царскими особами, что для опального офицера найдено неприличным, то просто тем, что он в славе и блеске, а при “нижайших просьбах” и хлопотах сидеть бы тихо и не раздражать и т. п. — такие вещи легко говорить: “кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал” — такова народная мудрость. И дожидается того, что ему предписано покинуть столицу и ехать в кавказский полк “в 48 часов”. После всех надежд, после глотка столичного воздуха, после планов основания журнала — это был страшный удар, это становилось как бы третьей ссылкой! О его отчаянии есть свидетельство редактора “Отечественных записок” А. А. Краевского. 2 мая 1841 года он покидает Петербург, но всячески затягивает отъезд из Москвы, затем всеми неправдами задерживается в Туле, Ставрополе, Пятигорске... Жить он хотел, жить, как все люди, он хотел работать, он не хотел умирать!

...Дальнейшие показания перед следственной комиссией Глебова, Васильчикова и самого Мартынова имеют целью, по возможности не теряя лица, выгородить себя и умолчать вовсе об участии Столыпина и князя Трубецкого, особенно нелюбимых царём. Секундантами назвались Васильчиков — секундантом Лермонтова, Глебов — Мартынова. В действительности было обратное, но Глебов квартировал с Мартыновым, Лермонтов же квартировал со Столыпинам, принятое распределение выглядело естественнее, и тем они отчасти прикрывали Столыпина. Мартынов в показаниях объясняет свой вызов как “вынужденный”, указывает барьер в 15 шагах. Но в черновике его показаний имелось иное: “Условия дуэли были: ... 3-е. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. 4-е. Более трёх выстрелов с каждой стороны не было допущено...” Глебов после чтения черновика (на обмен записками с гауптвахтой, где заключён Мартынов, начальство закрывает глаза) присылает ему записку: “Я должен же сказать, что уговаривал тебя на условия более лёгкие. Теперь покамест не упоминай об условии

3-х выстрелов; если же позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду". Военный суд запроса не сделал (Окружной пятигорский стал было слишком вникать! Гроза висела над Мартыновым!), "...и условие 3-х выстрелов (с вызовом отстрелявшегося на барьер!) было от следствия скрыто" (ЛЭ). При этом Мартынов уверенно знал, что Лермонтов стрелять не будет. Князь Васильчиков позднее сообщил Висковатому, что Лермонтов продолжал держать пистолет дулом вверх. "На вопрос изумлённого Висковатого (которому Васильчиков сделал это сенсационное признание), "отчего же он не печатал о вытянутой руке, свидетельствующее (так в тексте. — М. Ж.), что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять", бывший секунданта ответил, что "прежде он не хотел подчёркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его". "Итак, секунданта скрыли от следствия ещё один факт — пожалуй, самый важный: Мартынов стрелял в Лермонтова не только будучи уверенным, что тот в него не целится и не выстрелит, но именно в тот самый момент, когда Лермонтов поднял руку с пистолетом и, возможно, даже успел выстрелить в воздух" (там же). О последнем может свидетельствовать и обмолвка Мартынова: "У его (Лермонтова) пистолета осечки не было". В показаниях Васильчиков говорит, что он уже после разрядил пистолет Лермонтова на воздух...

Если до пушкинской дуэли, ещё и сразу после неё возможны были светские суждения о "чести", "обязывающей" стрелять хотя бы и в Пушкина, то после "Смерти поэта", известной в списках каждому грамотному русскому, злодеяние Мартынова в наших глазах не может иметь окраски оправдательной. "Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку подымал"? Положим, и не мог; и не до того ему было, чтобы понимать. Но отчего? Так оскорблён, что оскорбление всё затмило? Чем же так оскорблен? "Montagnard au grand roignard" ("горец с большим кинжалом") — при дамах? Вот этим — оскорблён?? И держал-то пистолет курком набок, "по-французски" — и тут, кажется, выверт, манера, амбиция, самолюбование...

Но вероятнее, что он бессознательно красовался; вряд ли он и сам так-то уж всё сообщал. Их отношения на самом деле были неискренни и взрывоопасны; понимаем мы это, конечно, задним числом. Можно предполагать, что в этот период Мартынов внутренне был болезненно неприкаян, он ходил вокруг центра, в котором находился Лермонтов, и хотел бы стать с ним просто, по-товарищески, на дружеской ноге. Но тому не требовались товарищи — разве приятели-сотрапезники, очень немногие, и те от безысходности, — тот видел с птичьего полета и уже высоко сознавал себя; Мартынова же видел насквозь и едва ли считал и за человека (он отнюдь не всех считал за людей, как и пушкинский Енегин, но был исключительно избирателен, если только не сказать, брезглив, — да и занят же он был иным!). Помимо скрытого отторжения, Мартынова подмывало ревнивое соперничество, на которое Лермонтову опять-таки было наплевать... за исключением, скажем, дамской составляющей, где соперник как раз преуспевал. Приятель, в сущности, не замечал его вне этой зоны (где, конечно, злился и зло шутил).

Мог ли он завидовать Лермонтову? — Разве только его славе, но этому не завидуют, это чудово; он не был так уж глуп, как аттестует его сильно умная m-lle Быховец, хоть и не сознавал настоящего значения приятеля, но ведь и никто не сознавал! Он был только ординарен. Не лезть бы ему туда...

Но явное предпочтение славы, отданное приятелю в близком соседстве, когда приятель весь рядом и на вид "такой же", именно близостью может раздражать, досада на его успех может быть непроизвольна и сильна; Мартынов одержим комплексом первенства — товарищами такие быть не могут.

Его настоящее назначение и призвание — добротный домашний хозяин, семя, благодушный мещанин, кем он и стал, только с клеймом убийцы, которое, ещё не факт, давило ли его. В начале карьеры он планировал достичь генеральства, но не обладавший должными для этого данными, понявший, какими рисками на войне устелена дорога, и притом со слухом о какой-то "истории" в полку, вышел в отставку майором. Это удар по самолюбию очень сильный, сбивающий молодого честолюбца с ног. По неприкаянности он искал поклонения, претендовал на него, а вместо того часто получал острые насмешки, которые не истощались, они кололи изо дня в день и отгоняли его на дистанцию. Он хотел быть равным — его не подпускали; уступая как лидер,

сжимая это в себе, он искал оценённости, уважения (чем он был хуже?) и не только не имел того, но получал в лицо дружный беззаботный смех и чуть не в глаза аттестацию глупца – и его заело. Он стал словно взбешённым зверем. Этого скачка, по беззаботности, не почувствовал никто, кажется, даже Лермонтов, понявший это в последние минуты. И в эти минуты, поднявши в небо руку с пистолетом, он ждал – как определится то, что сейчас стоит перед ним, он изучал – как он всю свою короткую жизнь изучал людей, в том числе провоцируя их; но он и по-печорински испытывал судьбу. Он был тоже глубоко уязвлён нескладывающейся жизнью, тоже несчастлив на своём, несравнимо ином уровне.

Судьба не любит, когда её испытывают не на подъёме сил. Говорят, что фортуна – женщина, она уступает уверенным и весёлым.

* * *

В Пятигорске сразу после дуэли распространился слух, что Лермонтов категорически отказался стрелять в Мартынова.

Священник Василий Эрастов отказался отвечать Лермонтова как приравненного каноником к самоубийце (что почти и было?) и донёс на протоиерея пятигорской Скорбященской церкви Павла Александровского, что тот (настоянием самого начальника штаба, командующего войсками Кавказской линии полковника А. С. Траскина и деньгами Столыпина) проводил тело Лермонтова до могилы и прочёл над ним погребальную молитву (вносить тело в церковь не разрешили).

“От него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало, что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовёт, чтобы другим неприятность наносить...”

Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались... От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, его насмешки переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был...

Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая... Ноги вперёд висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал”. (Слова В. Эрастова со ссылкой на публикацию “Вестника Европы” 1914 года).

На другой день после похорон, 18 июля, под эгидой полковника князя Владимира Сергеевича Голицина в казённом Ботаническом саду, в полутора верстах от Пятигорска, состоялся давно подготовляемый бал, на котором присутствовали и танцевали три сестры Верзилины (старшая, по другому отцу, Эмилия Клингенберг), в доме которых случилась 13 июля ссора. Удался ли бал, неизвестно. Кажется, явилось немало молодёжи: не пропускать же бал! Хотя, конечно, не все, так-то уж не надо; некоторых не было. Любили они его. Были ошарашены.

Обстоятельная статья “Дуэли” в ЛЭ (Л. М. Аринштейн, В. А. Мануйлов) избегает утверждения о существовании какого-либо пятигорского или иного заговора против Лермонтова; в ней лишь указано со ссылкой на мемуариста П. Ж. Мартьянова, что в пятигорском салоне генеральши Е. И. Мерлини отнеслись к Лермонтову “с явным предубеждением” и что, “по некоторым сведениям, незадолго до дуэли с Мартыновым близкие к Мерлини люди пытались спровоцировать ссору Лермонтова с офицером С. Лисаневичем”. Прапорщик Семён Дмитриевич Лисаневич от этой роли уклонился: “Чтобы я поднял руку на такого человека!” – если эта фраза достоверна, то ясно, что и в офицерской среде иные люди понимали, кто такой Лермонтов. Начальник штаба полковник А. С. Траскин и сам командующий войсками Кавказской линии генерал-адъютант П. Х. Граббе скорее симпатизировали Лермонтову. Исследователи считают, что глубинной причиной ожесточения Мартынова было его неуравновешенное состояние, вызванное неудачами карьеры, обострившими некоторые черты его характера (самовлюблённость, потребность в самоутверждении – то, что теперь называют комплексами). “Вместе с тем не следует преуменьшать остроту конфликта между Лермонтовым и придворными кругами, некоторыми лицами, близкими к Бенкендорфу (например, министр иностранных дел К. В. Нессельроде), которых Лермонтов заклеивал в стихах “Смерть поэта” (ЛЭ, с. 153).

В этой связи безусловно неслучайна исключительная мягкость, проявленная царём Николаем к Мартынову, приговорённому к трехмесячному заключению на киевской гауптвахте и последующему церковному покаянию, которое через пять лет было отменено. Он жил в Киеве, затем в Москве, был выгодно женат, состоял в Английском клубе, где вечерами играл, и умер шестидесяти лет от роду. Глебов и Васильчиков были высочайше прощены.

Всё-таки повторим, что недопустимый по понятиям чести выстрел наводит на сильное подозрение, что Мартынов был как-нибудь обиняками заранее обнадёжен в смысле будущего наказания и тем поощрён к удовлетворению своей ярости. Дело ещё в том, что, по мягкому выражению Висковатого, он не был храбр, а тут совпало всё: и новое оскорбление (“Я в этого дурака стрелять не буду...”); и противник раздражительно выжидает, провоцирует, поднявши пистолет; и можно дать себе волю, и вот же она, его победа. Это была секунда, но её хватило. “Потеря для мира небольшая”.

Для мира — как знать. А для русских — непоправимая.

Как ни полузабыт сегодня тон поношения русского самодержавия, как ни оборотился нынче сам вектор поношения, приходится коснуться и традиционно-размытого демократического толкования: убил его “самодержавно-крепостнический строй”. Если и так, если и убил, то убил, как думается, отнюдь не за принадлежность к чуждому лагерю, не за приверженность демократизму или идейности какого-нибудь непозволительного толка; скорее, быть может, как раз за то, что он не поддавался никакому и, что хуже всего, идейному толку, что он сам был суд и судья всему, не считаясь в большинстве вопросов ни с кем, кроме тех немногих, кого любил (и с ними не в главных вопросах), что он ставил себе сам и решал выдающиеся по трудности познавательные-философские и художественные задачи, одинаково чуждый царю и Белинскому, не разделяя общественных установок, исходящих от кого бы то ни было и пообезьяни подхваченных “направлениями” той или иной ориентации. С успехом его могли бы убить за то же самое и “демократы” — интересы партий обычно сходятся в отношении того, кто презирает их одинаково.

В работах советского времени неизменно акцентируется его интерес к декабристам и декабризму — и прямо привязывается его мировоззрение к их идеологии; в биографическом очерке Б. М. Эйхенбаума термин “декабристы” в прямой связи с Лермонтовым употреблён более десятка раз — притом известные слова Герцена о 14-м декабря и о том, как “вынужденные молчать, сдерживая слёзы, мы научились... вынашивать свои мысли... полные ярости” и т. д. — по мнению биографа, “до некоторой степени заменяют нам недостающие признания самого Лермонтова”. Не вызывает сомнения, что Лермонтов выспрашивал сосланных декабристов на Кавказе при всяком случае с глубочайшим интересом к их надеждам и планам, равно и к психологическим типам этих, впрочем, очень разных, людей (сам по обыкновению не открываясь и изображая легкомыслие), несомненна и его дружба с этими благородными людьми. Не нужно забывать, кто был Лермонтов как психолог, художник, патриот своей родины и мыслитель. Но нет никаких сведений о том, что он разделял их революционную идеологию. Слова “Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом” никак не соответствуют духу непримиримой революционности, скорее говорят о куда большей глубине чувствования русской исторической сути. Если соединить это с предсказанием “Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт” и с его выражением сути России в известном отрывке о Еруслане Лазаревиче... Но приведём его целиком: “У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем двадцать лет и спал крепко, но на двадцать первом году проснулся от тяжёлого сна — и встал и пошёл... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия...” Если связать это в целое, то его понимание прошлого и будущего страны окажется куда содержательнее прежних и последующих радикальных программ.

Непосредственные впечатления от разговоров с ним передаёт декабрист М. А. Назимов: “Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полёта, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи

журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нём удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделялся шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьёзная беседа. А в нём теплился огонёк оригинальной мысли, — да, впрочем, и молод же он был ещё”. (В передаче П. А. Висковатова). “Теплился огонёк!” “Молод был!” Глумился, отделялся шуткой или сарказмом... Насколько же он превосходил их всех, с их статьями и “наследием лучших умов Европы”. Они, а не он, были дети перед ним. Жалок перед ним и сам Белинский, грозно выговаривающий Герцену, — что там, самому Гоголю! — он школьник перед этим мальчиком, выдающим в секунду суть человека, его вторичность, его зависимость от чужих умов, чужой сильной логики — как будто логикой познаваем мир! Эти Вольтеры, Герцены, Белинские — провокаторы, остроумные критики внешнего, ведущие за собой таких же ожесточённых неприкаянных детей, — вот история революций и разрушения государств: дитяти нужны “восторги”, ему хочется “вперёд”! Они всё постигли, они знают, где “перёд”...

В отличие от деятелей-середняков великий ум тем менее уверен, чем более знает. “Я знаю, что я ничего не знаю”, — сказал Сократ. Каков итог жизни, целиком посвящённой познанию! Бытие мира таинственно; вещи в нём неслучайны. Только ограниченный ум тщится “улучшить” мир — ведь мы не знаем о нём ничего. Улучши себя — и спасутся около тебя многие! Но упорно втягивают могучую личность в свой лагерь: она придаст вес, она привлечёт внимание. Ему же хотелось выйти из круговой поруки людей. Находясь в отношении даже не презрения, а уж почти сострадания к примитиву, он бежал партий. И именно потому, что он был таков, он и был способен на гораздо большее, чем “демократия” или даже “народность”, что бы под этим не хотелось тем или иным согражданам подразумевать.

Но месть тупиц ожесточается пренебрежением; и в том, если угодно, и заключалась “предопределённость”. “Уступи, и победишь”, — скажет мудрец Востока; “Аккуратнее всего быть с дураком”, — сказала бы женщина.

Он не “замыкал” собой прежний этап развития и не “связывал” его с этапом новым, он уже был этим новым этапом. На полном ходу оборвали это развитие, в момент, когда восходила русская звезда.

*...и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений...*

Он мог достичь вершины! Но то не было обыкновенной вершиной — это должна была быть вершина вершин!